

**Истории людей,
уехавших из
России в Америку**

Василий Мантуленко

Истории людей, уехавших из России в Америку

<https://litres.ru/74197097>

SelfPub; 2026

Аннотация

Десять голосов, десять судеб — врач и учитель, IT-специалист и художница, предпринимательница и правозащитник. Их объединяет одно: все они за последние три года уехали из России в США. У кого-то эмиграция обернулась успехом, у кого-то — разочарованием, у третьих — подвешенным состоянием между «уже не там» и «ещё не здесь».

Это не публицистика и не политический памфлет. Это честные, местами неудобные монологи людей, которые заново учатся жить — на другом языке, с другой профессией, а иногда и с другим представлением о себе. Книга без готовых выводов о том, «правильно» ли было уезжать — потому что универсального ответа не существует, есть только десять разных способов пройти один и тот же путь.

Содержание

От автора	5
Глава 1. Релокация	6
Глава 2. Мобилизация	14
Глава 3. С нуля	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Василий Мантуленко
Истории людей, уехавших
из России в Америку

Три года спустя

Истории людей, уехавших из России в Америку

От автора

Эти истории записаны в разных штатах — от Нью-Йорка до Калифорнии — между 2024 и 2026 годом. Имена и некоторые детали изменены, но голоса, интонации, оговорки и паузы героев я старался сохранить максимально бережно. Никто из них не претендует говорить «за всех эмигрантов». Это просто десять способов оказаться в одной и той же ситуации и прожить её совершенно по-разному.

Глава 1. Релокация

Дамир, 34 года, инженер-программист. Уехал из Москвы в марте 2022-го по корпоративной релокации, сейчас живёт в Маунтин-Вью, Калифорния. Разговариваем в кофейне рядом с его домом; за окном — идеальный, будто нарисованный, калифорнийский газон.

— Знаешь, что смешно? Я три года мечтал именно об этом. Кремниевая долина, компания из топ-пятёрки, зарплата, от которой у моей мамы до сих пор темнеет в глазах, когда я называю цифру в рублях. И вот я здесь. И где-то на второй год я понял, что мечта закончилась примерно через полгода после того, как исполнилась. А дальше началась жизнь. Просто жизнь, без спецэффектов.

Он мешает ложечкой кофе, хотя сахара туда не клал.

— Сам переезд был... нереально быстрым. Компания дала три недели на сборы. Три недели, чтобы решить — что из двадцати восьми лет жизни помещается в два чемодана. Я сдал квартиру, которую снимал шесть лет, отдал коту соседке снизу — она обещала присылать фотографии, и первые полгода правда присылала, потом перестала, а я не решился написать первым, вдруг что-то случилось.

— Кот жив?

— Не знаю. — Он смотрит в окно. — Вот это, наверное, первое, что я понял про эмиграцию: ты теряешь не только

людей, у тебя обрываются вот такие маленькие ниточки, о которых ты даже не думал. Кот. Парикмахер, который двенадцать лет стриг тебя одинаково и уже не спрашивал, как обычно. Двор, где ты знал, в какой яме собирается вода после дождя.

Он смеётся сам над собой.

— Простите, я сейчас скажу пафосную вещь: свобода дорого стоит. Не деньгами. Временем, которое уходит на то, чтобы перестать быть призраком самого себя.

— Расскажите про первый год.

— Первый год — это эйфория пополам с ужасом. Офис — это же диснейленд для айтишника: бесплатная еда три раза в день, массажные кресла, коллеги из пятнадцати стран, которые вообще не спрашивают тебя, что ты думаешь про политику, потому что здесь никому нет дела, откуда ты, важно, что ты умеешь делать. Первые полгода я реально думал — вот оно, я выиграл в лотерею.

А потом начались мелочи. English — вроде я сдавал IELTS на 8, читал техническую документацию с институтских времён, а тут на митинге кто-то шутит, все смеются, а я не понимаю — почему? Не потому что не знаю слов. Потому что не знаю контекста. Какой-то мем из девяностых, какое-то шоу, которое они смотрели детьми. Я — inside, но я — снаружи одновременно. Это очень специфическое чувство, я не знал для него слова, пока не наткнулся на него в интервью у другого релоканта: «культурная немота». Ты можешь говорить,

но твои шутки не смешные, а их шутки — не твои.

— Тяжелее всего было не с языком, а с тем, что здесь никто не спрашивает «как дела» по-настоящему. Спрашивают все. Отвечать всерьёз нельзя никому.

Он замолкает на секунду.

— В Москве я мог позвонить другу в час ночи, если мне плохо. Здесь у меня прекрасная квартира с видом на горы, отличная зарплата, страховка, покрывающая психотерапевта — и в первый год я звонил маме в час ночи по Москве, потому что больше некому было звонить, а у неё как раз было утро.

— А с семьёй как отношения сейчас?

Пауза длиннее предыдущих.

— Сложно. Отец не понимает, зачем я уехал — «у тебя же было всё». Мама понимает, но боится говорить об этом по телефону, вдруг слушают, вдруг что. Мы стали разговаривать какими-то эзоповыми фразами, я сам не понимаю, насколько это паранойя, а насколько разумная осторожность. Раз в две недели видеозвонок, где мы обсуждаем погоду и здоровье бабушки, а то, что реально происходит в наших жизнях, остаётся за кадром.

Сестра не разговаривает со мной вообще — считает предателем. Написала это слово прямым текстом в переписке, и с тех пор — тишина. Иногда я вижу её сторис в инстаграме. Она выглядит счастливой. Может, так оно и есть.

— Жалеете, что уехали?

— Нет. Хотя это неполный ответ. Я не жалею о факте отъезда. Я иногда жалею о скорости, с которой всё случилось — что не было времени попрощаться нормально, поговорить с людьми не second-hand, через мессенджеры, а вживую. Что я не знал, что прощаюсь навсегда, когда обнимал друга на про- водах, и вёл себя буднично, потому что думал — увидимся через полгода, когда всё уляжется.

Три года прошло. Не улеглось.

— Что изменилось за эти три года лично в вас?

Он думает дольше, чем над всеми предыдущими вопро- сами.

— Я перестал додумывать сценарии возвращения. Пер- вый год я мысленно вёл параллельную жизнь — как бы всё было, если бы я остался, если бы вернулся. Это выматывает сильнее, чем сама эмиграция. Сейчас я просто... живу здесь. Не потому что смирился в плохом смысле. А потому что по- нял: жить одновременно в двух реальностях невозможно фи- зически. Нужно выбрать одну и вкладываться в неё. Я вы- брал эту.

Купил дом в прошлом году. Первый раз в жизни — свой дом, не съёмная квартира. Стоял на пороге с ключами и ощу- щал странную смесь гордости и вины — как будто предаю какую-то другую версию себя, ту, что должна была купить квартиру в Москве, о которой мечтала всю жизнь.

— А кот?

Он улыбается — впервые за разговор по-настоящему, не

вежливо.

— Кота я так и не узнал судьбу. Завёл нового здесь, в приюте в Сан-Хосе. Рыжий, наглый, ничем не похож на того. Может, это тоже часть эмиграции — ты не воссоздаёшь старую жизнь копией, а строишь новую, и в ней есть место для нового кота. Не замену старому. Просто нового кота.

— Расскажите про офис — вы упомянули диснейленд для айтишника. Как менялось ваше отношение к самой работе за эти три года?

— О, это отдельная эволюция. Первый год я реально верил во всю эту корпоративную мифологию — миссия компании, "мы меняем мир", открытые пространства, где инженер и вице-президент вместе стоят в очереди за смузи. Мне казалось это невероятно прогрессивным после наших опенспейсов с завхозом, который проверял, кто во сколько пришёл.

Года через полтора начинаешь видеть изнанку. Массажные кресла — это же тоже способ удержать тебя в офисе подольше, чтобы ты не спешил домой. Бесплатная еда — чтобы не тратил время на обед вне здания. Я не жалею, это разумная бизнес-логика, но романтики поубавилось. Сейчас я отношусь к работе прагматично — хорошие условия, интересные задачи, адекватный менеджмент, но никакой "миссии" я в этом больше не ищу. Может, это просто взросление, а не специфика эмиграции — не знаю.

— Как обстоят дела с деньгами? Изменилось ли

ощущение финансовой безопасности?

— Тут интересный парадокс. По абсолютным цифрам я зарабатываю сильно больше, чем зарабатывал в Москве, даже с поправкой на курс. Но ощущение финансовой защищённости почему-то не выросло пропорционально. В Москве у меня были родители, к которым в крайнем случае можно было прийти, если совсем плохо. Здесь — только я. Нет вот этой подушки в виде большой расширенной семьи, готовой подхватить в трудный момент. Поэтому я откладываю сильно агрессивнее, чем откладывал бы в России при том же уровне дохода — что-то вроде компенсаторного поведения, наверное.

Ипотеку на дом взял, но у меня всегда в фоне работает калькулятор — сколько я продержусь без работы, если завтра увольнение. В Москве я об этом не думал вообще, хотя объективно там подушка была тоньше. Забавно, как ощущение уязвимости не всегда коррелирует с реальными цифрами в банке.

— Вы упомянули коллег из пятнадцати стран. Как строится дружба здесь — легко ли заводить близких друзей в этом возрасте, в новой стране?

— Это, пожалуй, самое медленное из всего. С коллегами — легко на уровне "пойти выпить пива после работы", поговорить о проекте, о сериале. А вот дружбу в том смысле, в каком я понимал это слово в России — когда можно позвонить в три ночи, когда человек знает историю твоей семьи на

три поколения назад, — такую дружбу здесь заводить очень медленно. Мне сейчас тридцать четыре, у местных американцев близкие друзья появились ещё в колледже, у них этот круг уже устоялся к моему возрасту. А я пытаюсь встроиться в чужие устоявшиеся компании или строить всё заново, с нуля, в позднем взрослом возрасте, когда люди уже менее охотно впускают новых.

Есть, впрочем, отдушина — русскоязычное сообщество релокантов здесь оказалось на удивление большим и разнообразным. С парой ребят из бывших коллег по прошлой работе в Москве мы неожиданно сблизились именно здесь, хотя в Москве почти не общались — общий опыт эмиграции как будто сближает людей, которые дома были едва знакомы.

— Как вы сейчас думаете о доме — где он для вас теперь?

Долгая пауза, он смотрит на свою чашку, давно остывшую.

— Хороший вопрос, честно не готов дать однозначный ответ. Физически, бытово — дом здесь, вот этот дом с ипотекой, вот эта кухня, где я готовлю по выходным. Но есть какое-то более глубокое, почти телесное ощущение дома, которое до сих пор автоматически привязано к Москве — запах подъезда, звук определённого трамвая, свет в окне в конкретное время года. Я думаю, что для моего поколения релокантов "дом" перестаёт быть единой точкой на карте и становится каким-то распределённым, многослойным понятием.

Дом — это где ты сейчас физически. И дом — это откуда ты родом эмоционально. Они не обязаны совпадать, и, кажется, я смирился с тем, что у меня они, возможно, никогда полностью не совпадут.

Глава 2. Мобилизация

Женя, 29 лет, преподаватель истории в частной школе. Уехал из Екатеринбурга в конце сентября 2022-го, в первую волну после объявления мобилизации. Сейчас живёт в Нью-Джерси, работает на складе логистической компании. Разговариваем у него дома — однокомнатная квартира, на стенах ни одной фотографии.

— Я узнал в четверг вечером. Сидел, проверял контрольные по истории Древнего мира — у восьмиклассников, между прочим, — и в чате учителей кто-то скинул указ. Я его перечитал раз пять, всё ждал, что найду строчку, которая меня не касается. Не нашёл.

К пятнице утром я уже понимал, что уезжаю. Не решил — понял. Как будто тело раньше мозга сделало выбор.

— Как быстро вы собрались?

— Тридцать шесть часов. Билетов на самолёты уже не было — вообще, ни одного направления, где принимали россиян без визы. Значит — машина, значит — Грузия, через Верхний Ларс.

Он говорит это ровным голосом, как будто рассказывает не о себе, а зачитывает параграф из учебника, который сам же и проверял у восьмиклассников.

— Я не попрощался с родителями лично. Позвонил из машины, за час до границы, соврал, что уезжаю в командировку.

ку. Не знаю почему соврал. Наверное, боялся, что если скажу правду — отец начнёт отговаривать, а у меня и так сил не было спорить, я всю ночь за рулём, границу видно уже на горизонте, там очередь на трое суток стояла, я потом узнал.

— Трое суток в очереди на границе — как это было?

— Спали в машинах. Кто-то плакал, кто-то материл всё подряд, кто-то, наоборот, шутил без остановки — истерически так, знаете, смех на грани. Рядом со мной три дня стояла машина с семьёй — муж, жена, две дочки-погодки, лет семи и девяти. Отец ехал, потому что получил повестку тем же вечером, что и я. Девочки играли в “камень-ножницы-бумага” прямо на асфальте между машинами, а их мать в это время сидела на капоте и звонила — искала, где они будут жить в Тбилиси, потому что бронь на квартиру, которую они сделали заранее, сорвалась: хозяин увидел новости и решил не сдавать жильё “этим”.

Пауза. Он трёт лицо ладонью.

— Вот эта деталь у меня почему-то застряла больше всего. Не сама повестка, не граница, а вот это — “хозяин решил не сдавать этим”. Тогда я первый раз подумал: а кто я теперь вообще такой в глазах людей? Не по паспорту. По факту.

— Как оказались в США?

— Через Грузию, потом Армения, потом почти год ожидания в разных юридических статусах — рабочая виза не выгорела, потом всё-таки нашёлся вариант через гуманитарную программу для тех, кто бежал от призыва. Полтора го-

да асайлум-процесса, который до сих пор не закончен, если честно. У меня interim work permit, я работаю легально, но статус — “в процессе рассмотрения”. Живу в подвешенном состоянии, если коротко.

— Знаете, что самое трудное в этом состоянии? Не бедность, не работа не по специальности. А то, что ты не можешь строить планы дольше, чем на несколько месяцев вперёд. Хочешь снять квартиру на два года — а вдруг решение по асайлumu придёт отрицательное. Хочешь начать встречаться с кем-то всерьёз — а как объяснить человеку, что твоя жизнь висит на кончике письма от иммиграционной службы?

— Вы преподавали историю. Сейчас работаете на складе. Как это ощущается?

Он смотрит в сторону, чуть дольше, чем нужно для паузы.

— Первые полгода было физически больно об этом думать. Я одиннадцать лет учил детей отличать причину от повода, разбирать источники, спорить аргументированно. А теперь я перекладываю коробки по десять часов и слушаю подкасты, чтобы не сойти с ума от однообразия.

Знаете, что забавно — я как историк постоянно ловлю себя на том, что раскладываю собственную жизнь на периоды, как раскладывал бы материал для урока. "Довоенный период", "период бегства", "период адаптации". Профессиональная деформация, наверное. Даже стоя у конвейера, я иногда мысленно пишу методичку по истории собственной жизни,

как будто это поможет объяснить произошедшее самому себе.

Но потом... знаете, я неожиданно нашёл в этом какое-то честное дно. На складе никого не волнует, кто ты был. Волнует — успеваешь ли ты норму. Есть что-то очищающее в работе, где твоя ценность измеряется буквально, штуками в час, а не тем, насколько ты умеешь производить впечатление на директора школы.

Английский подтягиваю по вечерам, готовлюсь к экзамену на подтверждение диплома. В соседнем штате есть программа для беженцев с педагогическим образованием — переподготовка, ускоренная сертификация. Подал документы месяц назад.

— Как родители сейчас?

— Отец так и думает, что я в длинной командировке, которая почему-то не заканчивается третий год. Мы это никогда не проговаривали вслух, но, кажется, он тоже понял правду и предпочитает делать вид, что нет. Матери я рассказал всё как есть, она плакала в трубку, но потом сказала фразу, которую я, наверное, не забуду: “Лучше ты там живой коробки таскаешь, чем здесь...” — и не закончила предложение. Не смогла.

Знаете, у меня младший брат остался. Двадцать три года, тоже подходит под мобилизацию. Я звоню ему через раз, и каждый раз, кладя трубку, боюсь, что это последний нормальный разговор.

— **Жалеете о решении уехать?**

— Ни секунды не жалею о самом решении. Жалею, что оно было принято не мной, а за меня. Что не было выбора “остаться и жить нормально” — был выбор “уехать” или “исчезнуть в другом, страшном смысле”. Разница между эмиграцией по любви к новой стране и эмиграцией по факту угрозы — она огромная, и я думаю, люди снаружи не всегда её чувствуют. Меня иногда спрашивают здесь, в Америке: “О, ты из России, ты, наверное, мечтал сюда переехать?” И мне приходится каждый раз решать — либо долго объяснять, либо просто кивнуть, потому что объяснять сил нет.

— **Что вам сейчас даёт силы?**

Впервые за разговор он чуть улыбается.

— Восьмиклассники, которых я больше не учу, но с которыми переписываюсь. Двое из них написали мне в личку через полгода после моего отъезда — просто спросить, как я. Не родители, не коллеги — дети. Спросили, всё ли со мной в порядке, и я тогда сидел в машине на парковке склада и рыдал минут двадцать. Оказывается, ты можешь одиннадцать лет учить кого-то истории, а по-настоящему они запомнят не даты и не причины Первой мировой, а то, что ты был с ними человеком. И это, наверное, единственное, что осталось от той версии меня — что где-то в Екатеринбурге растут люди, которые знают, что учитель истории может уехать, испугаться, потеряться в чужой стране — и остаться при этом хорошим человеком.

— Как вообще устроен ваш обычный день сейчас, спустя три года?

— Встаю в пять сорок, склад начинает работать в семь, ехать сорок минут на автобусе, машину пока не потянул по деньгам. Десять часов смены, час обед, домой к семи вечера. Вечером — либо английский по учебнику, либо документы для программы переподготовки, либо просто лежу и смотрю в потолок, потому что сил ни на что больше не осталось.

Знаете, самое неожиданное — насколько физически тяжёлым оказался этот труд для человека, который двадцать лет сидел с книгами. Первые три месяца у меня всё болело — спина, ноги, руки. Я в шутку говорил себе, что это "форма исторической справедливости" — учитель, который всю жизнь считал себя человеком умственного труда, вдруг узнаёт, каково это — физически.

— Как складывается финансовая сторона жизни?

— Скромно, но без катастроф. Склад платит немного выше минимальной ставки штата, этого хватает на аренду комнаты — не квартиры целиком, комнаты, я делю жильё с двумя другими ребятами, тоже из России, тоже в похожей ситуации. Откладывать почти не получается, разве что по чуть-чуть на экзамен по подтверждению диплома — там немалый взнос за сдачу.

Первый год было по-настоящему туго — я даже одно время подрабатывал репетитором по истории для русскоязычных школьников онлайн, по вечерам, чтобы свести концы с

концами. Это, кстати, оказалось неожиданно терапевтичным — хоть немного, хоть виртуально, вернуться в профессию, почувствовать себя учителем, а не просто рабочей единицей склада.

— Как ваши соседи по квартире, тоже уехавшие — какие у них истории?

— Один — программист, ждёт визу спонсора от компании, застрял в процессе уже год. Второй — актёр, в Екатеринбурге играл в местном театре, здесь работает в доставке еды и раз в месяц ходит на открытые прослушивания в местные театральные студии, без особого успеха пока, но не бросает попытки.

Мы иногда по вечерам собираемся на кухне, пьём чай, обсуждаем новости, но стараемся не превращать это в бесконечный разбор политики — слишком выматывает, если делать это каждый день. Чаще шутим, вспоминаем нелепые бытовые случаи из первых месяцев — как один из нас перепутал стиральный порошок с кондиционером, как другой три недели не мог понять, почему в американских домах нет привычных выключателей света на входе в каждую комнату.

— Что вы думаете о будущем — своём, брата, России в целом?

— Про Россию загадывать не берусь, слишком сложная и неопределённая тема, чтобы делать прогнозы. Про себя — надеюсь через год-полтора получить решение по asylum, завершить сертификацию, вернуться к преподаванию, пусть не

сразу в постоянную школу, может, начну с частных уроков или помощника учителя. Про брата — надеюсь, что ситуация как-то разрешится для него без необходимости выбирать между теми же вариантами, что стояли передо мной.

Знаете, что я себе обещал в ту ночь на границе, среди трёхдневной очереди? Что не позволю обстоятельствам сделать меня злым или циничным человеком. Пока, кажется, держусь этого обещания. Это, наверное, единственное, что полностью в моей власти в этой ситуации — не то, получу ли я asylum, не то, вернусь ли я когда-нибудь к преподаванию официально, а то, каким человеком я останусь на протяжении всего этого испытания.

Глава 3. С нуля

Марина, 41 год, до отъезда — совладелица сети кофеен в Санкт-Петербурге. Уехала в январе 2023-го, сейчас живёт в Майами, недавно открыла небольшую пекарню. Разговариваем прямо в пекарне, рано утром, до открытия — пахнет корицей и свежим кофе.

— Первое, что я сделала, когда прилетела в Майами — заплакала в такси от аэропорта. Не от горя. От ужаса, что я, сорокалетняя женщина с двумя высшими образованиями и семнадцатью годами бизнеса, сейчас окажусь никем. Буквально никем — без языка, без сети, без единой знакомой фамилии в телефонной книге этого города.

У меня в Петербурге было шесть точек. Шесть. Я начинала с одной кофейни в подвале на Васильевском, восемнадцать лет назад, и построила это буквально руками — своими и мужа. А потом... ну, вы знаете эту историю. Санкции, поставщики оборудования исчезли, аренда взлетела втрое, часть клиентов уехала, часть — просто перестала иметь деньги на латте за пятьсот рублей. Мы держались год. Потом продали всё — за смешные деньги, лишь бы не остаться должны поставщикам.

— **Почему именно США?**

— Не то чтобы мы выбирали США из тысячи вариантов. У мужа виза инвестора, E-2, через отдельную юридическую

историю — можно сказать, купили билет в один конец за очень серьёзные деньги и очень серьёзные нервы. Полтора года бумаг, доказательств, что бизнес реальный, что деньги легальные, что мы создадим рабочие места.

— Как начинали здесь?

Она усмехается, качает головой.

— Знаете, что самое унижительное было? Не бедность — у нас были накопления. А то, что все документы, все справки об опыте, все “восемнадцать лет в индустрии” здесь не значат вообще ничего. Приходишь в местную пекарню устроиться просто поработать, посмотреть изнутри, как здесь всё устроено — а тебя не берут, потому что нет опыта работы в США. Восемнадцать лет — и “нет опыта”.

Я полгода училась заново. Буквально ходила стажёром, без зарплаты, в маленькую французскую булочную в Бруклине, пока мы ещё жили там, — просто чтобы понять местные стандарты, требования здравоохранения, как работает лицензирование. В сорок лет, простите, как студентка на practicum.

— Не было мысли всё бросить?

— Была. Причём не один раз. Есть один вечер, который я запомню навсегда — примерно через восемь месяцев после переезда. У меня не получалось найти помещение, аренда в Майами оказалась дороже, чем мы рассчитывали, виза требовала показать прогресс, а прогресса не было. Я сидела на полу съёмной квартиры — мебели ещё толком не было —

и мужу говорю: “Давай вернёмся. В Тбилиси, в Ереван, куда угодно, где хотя бы понятен язык вокруг”.

Он не ответил ничего, просто налил мне вина и придвинул ноутбук — открыл файл с бизнес-планом, который мы вместе делали ещё год назад в Питере, до всего. И как-то... не знаю, это как найти старое письмо от себя самой. Я вспомнила, зачем мы вообще всё это затеяли.

— Что было переломным моментом?

— Помещение. Маленькое, угловое, в не самом престижном районе — но с историей: там до нас пятнадцать лет была кубинская *pastelería*, хозяйка уходила на пенсию. Она согласилась сдать нам его за разумную цену при условии, что мы сохраним пару рецептов их пирогов. Меня это тронуло почти до слёз — что кто-то, кто сам когда-то приехал сюда из другой страны с другим акцентом, передаёт эстафету следующему “не местному”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.